

20 октября Политбюро ЦК КПСС отменило постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград» как ошибочное,

в котором были искажены ленинские принципы работы с художественной интеллигенцией, необоснованной, грубой проработке подвергались советские писатели.

В указном постановлении 1946 года наряду с другими были названы имена

Анны Андреевны Ахматовой и Михаила Михайловича

Зощенко. Им был предъявлен тяжкий груз несправедливых обвинений, перечеркнувших их творчество, их видное место в советской литературе.

А. Ахматова объявлялась «типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии».

М. Зощенко был определен как пошляк и подонок литературы.

Ему приписывалось то, что он «давно специализировался

на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и

аполитичности...».

Духовное возрождение советского общества,

революционная перестройка, идущая в стране, плодотворные

процессы расширяющейся демократизации и гласности,

политика партии в области литературы и искусства,

возвращение нашей культуре имен тех, кто составлял ее

гордость и славу, — все это дезавуировало постановление

1946 года. Оно отменено движением самой жизни,

временем обновления и возрождения подлинных

культурных ценностей.

В процессе обогащения духовного мира, формирования

активной гражданской позиции человека занимают свое

достойное место произведения и

Анны Ахматовой, и Михаила Зощенко. Их личности и книги

возвращены к нам в своем истинном величии и значимости.

«Литературная Россия» публикует сегодня статью

известного литературоведа и критика В. Турбина, в которой

заявлена серьезная попытка дальнейшего переосмысления

личности и творчества замечательного художника

слова Михаила Михайловича Зощенко.

МЕЩАНИН... Мещанин... И опять: мещанин...

Дался же он нам, мещанин, которого якобы неустанно обличал писатель Михаил Зощенко!

Уже лет сто гвоздит мещанина словесность: и Чехов, и Горький, и Маяковский, а ему хоть бы что. Да оно и неудивительно: мещанство — категория, не имеющая ни границ, ни устойчивых признаков, кем бы то ни было — выявленных, научно описанных. Не термин, а заклинание: «Сгинь!» А мещанин, очевидно, увертлив: модификация оборотня в нынешнем материалистическом веке. Он исторически динамичен, подвижен, а, с другой стороны, он необычайно устойчив. Вчера мещанином считался приобретатель, собственник, сегодня же — тот, кто исподтишка мешает кооператорам, видя в них тех же приобретателей. Кем обернется он завтра?

Так или иначе, но Зощенко вставлен в ряд классиков, выводящих мещанство на чистую воду, причем говорится обычно, что Зощенко делал это как-то особенно изощренно: он маску мещанина надел, проник, так сказать, в неприступный стан; но летом 1946 года сам он заклеен был именем мещанина; маску отождествили с его лицом, началась вереница гонений, но впоследствии стало ясно, что гонения были напрасны. И писателя шаг за шагом литературно реабилитировали. По-смертно, как водится.

Хорошо, разумеется, что о Зощенко всё чаще говорится доброе слово и что есть о нем сочувственные книги, статьи. Но преобладающая в них мысль о мещановстве писателя представляется мне привносимой в его творчество извне. И преждевременным успокоением веет от этой мысли: начинает казаться, что Зощенко понят. А понят ли? Даже просто интуиция говорит: коль и впрямь была у Зощенко словесная маска, то социальный генезис ее и определеннее, и исторически значительнее.

Мне давно хотелось написать монографию «Михаил Зощенко и его грозная тень». Причем в слове «грозная» буква «о» на обложке была бы перечеркнута так, как в школьных тетрадках учитель перечеркивает орфографическую ошибку. И над «о» другим цветом стояло бы: «я».

ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ

то уж и сильные выражения на голову его сыпал щедро, и пророчества гибели. Правитель и литератор ссорились, пререкались, словно скандалящие супруги: они жить друг без друга не могут, но скандалы непрерывно. Закономерность тут несомненна. Кажется, только у матушки Екатерины II искомый союз получился: Фонвизин, Державин. Да и то ее игры в государственное меценатство закончились диким скандалом с Радищевым: отброшен он был туда, куда Макар телят не гонял. А в центре — диалог Николая I с Пушкиным, знаменитое: я сам буду твоим цензором. И все, что за сим последовало. Но и до Пушкина — цепочка несостоявшихся дуэтов, союзов: XVIII век с попытками приблизить ко двору того или иного пиита, с одами на восшествия на престол, с перстнями и драгоценными табакерками

рий о том, как правители расправлялись с художниками: мартиролог в форме галереи миниатюрных новелл о взаимоотношениях поэтов и государства. Поэт Василий Тредиаковский. Александр Полежаев. Тарас Шевченко. В середине страшноватых тридцатых годов, будучи в расцвете сил и в зените признания, Зощенко, опережая события, явно ищет в судьбах подвижников-страстотерпцев... себя. Он перебирает варианты гибели писателей, так или иначе прикоснувшихся к державной власти: будто разные одежды примеривает. При Павле I поэту Акимову «отрезали уши и язык и сослали в Сибирь». Не то: Сибирь — да, но чтобы уши кромсать, такого теперь не водится. Полежаев. «Приговорен был к прогнанию сквозь строй». Не то: устарело, хотя нынче сквозь строй литератора и гоняют метафорически —

ЗОЩЕНКО

Владимир
ТУРБИН



И ЕГО ТЕНЬ

То ли «грозная» тень, то ли «грязная». Так во всех библиографических справочниках монография и была бы маркирована — в двух вариантах.

Монография грезилась мне, но писать ее я не стал: о печатанье и речи быть не могло; писать в стрел в ожидании лучших времен готов не был. Мне не верилось, что лучшие времена застанут меня в живых; думал я, что так и будем мы жить, топя лучшие замыслы в тяготе будней. Не спеша корпел над поэтикой «Евгения Онегина» Пушкина (занятие, впрочем, вовсе небезопасное; да и в Пушкине, оставаясь в пределах застойной поры, ничего не поймешь, только нынче снова приоткрывается он в его подлинности). А сейчас, оказывается, можно писать о Зощенко то, что грезилось. На большую работу уже не достанет ни сил, ни времени, но попробую хоть несколько тезисов набросать.

Вижу Зощенко в давно ожидающем исследователя ряду; в цепи странных альянсов и драм: в истории русского... государственного меценатства. Правитель и литератор — что-то их всегда причудливо связывало, то толкая друг к другу, то друг от друга отбрасывая, причем, натурально, обладающий материальной властью правитель располагал возможностями отбросить своего партнера без метафор, буквально запроторив его куда-нибудь подальше; литератору же оставались метафоры, на которые он не скупился: он отбрасывал, отталкивал от себя правителя только лишь в переносном смысле, но за-

в виде, по-нынешнему сказать, материального стимулирования. И так — до начала XX века, когда Николай II робко попытался пригласить во дворец юмориста Аверченко, а тот, понимая, что, сделав он только шаг навстречу царю, его репутация невозстановимо погибнет, отлынивал и к царю не пошел: в пределах истории Российской империи все кончилось причудливым водевилем, шаржем.

В основе отношений правителя и литератора, а шире вообще художника — проблема односторонности самодовлеющей политической власти. Ее, опять же по-нынешнему скажу, бездуховности, смутно осознаваемой ею самой. Упразднив патриархию, Петр I придал лицу, лику власти дисгармоничную асимметрию. Она стала как бы одноглазой, одноокой. Она окривела — так, как у Пушкина живописуемые им бабы и тетушки («Сказка о царе Салтане...»). Литератор был нужен для компенсации асимметрии, хотя бы ради видимости гармонии. Его ко двору и заманивали, причем и сам он не прочь был, приблизившись к трону, пуститься назидать, вразумлять правителя, для начала призывая к милости к падшим, но простирая свои притязания и на большее. Разражался скандал, слишком много возмнишему о себе советчику указывали его место (как правило, было оно весьма отдаленным).

Ощушал ли Зощенко эту закономерность? Уверен, что да: по-своему, по-художнически.

«Голубая книга» Зощенко полна исто-

гонят сквозь шпалеры шпицрутенов-рецензий, упоминаний в разнородных докладах, Мысль перебрасывается в античность, в Западную Европу. А, вот оно! Узник Сервантеса. Дефо. «Автор «Робинзона Крузо» Дефо за сатирическую статью был (1703 год) приговорен к тюремному заключению. Сутки он провел привязанный к позорному столбу на площади. Проходящие обязаны были в него плевать». И потом... Я стараюсь избегать романтической лексики. Не ужасаться. Я буду предельно спокоен. «Нам исключительно жалко Сервантеса. И Дефо тоже бедняга. Воображаем его бешенство, когда в него плевали. Ой, я бы не знала, что сделал!» (здесь и далее разрядка моя. — В. Т.).

Тут уж прямая подстановка себя на место героев «новелл... из жизни писателей и поэтов»: «Ой, я бы...» Зощенко уже провидит себя где-то рядом с Дефо, и нельзя не услышать в его притче моления, в разных вариантах тысячекратно оглашавшего мировую историю: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как ты» (Матв., 26, 39). Чаша не миновала. Через 243 года после Дефо к позорному столбу приковали Зощенко, и проходящим вменили в обязанность плевать на него. Однако до этого было еще десять-одиннадцать лет, и пока что Зощенко подписывает свои назидательные новеллы, невозмутимо поучая читателей: «А вы уж, благодетели, обдумывайте сами эту смесь. Приучайтесь к самостоятельному мышлению...». Неуж-